Библиотека Всемирной Литературы

Антон Чехов

Рассказы. Повести. Пьесы



Цветы запоздалые

Антон Павлович Чехов

Аннотация
Антон Павлович Чехов. Цветы запоздалые
I
II
III

Аннотация

Любовь княжны к лечившему ее доктору остается безответной — он женится на другой. Спустя годы его сердце все же откликается на неугасающее чувство — однако слишком поздно…

Антон Павлович Чехов
Цветы запоздалые

Посвящается Н.И. Коробову

I

Дело происходило в одно темное, осеннее «после обеда» в доме князей Приклонских.

Старая княгиня и княжна Маруся стояли в комнате молодого князя, ломали пальцы и умоляли. Умоляли они так, как только могут умолять несчастные, плачущие женщины: Христом-богом, честью, прахом отца.

Княгиня стояла перед ним неподвижно и плакала.

Давши волю слезам и речам, перебивая на каждом слове Марусю, она осыпала князя упреками, жесткими и даже бранными словами, ласками, просьбами… Тысячу раз вспомнила она о купце Фурове, который протестовал их вексель, о покойном отце, кости которого теперь переворачиваются в гробу, и т. д. Напомнила даже и о докторе Топоркове.

Доктор Топорков был спицей в глазу князей Приклонских. Отец его был крепостным, камердинером покойного князя, Сенькой. Никифор, его дядя по матери, еще до сих пор состоит камердинером при особе князя Егорушки. И сам он, доктор

Топорков, в раннем детстве получал подзатыльники за плохо вычищенные княжеские ножи, вилки, сапоги и самовары. А теперь он — ну, не глупо ли? — молодой, блестящий доктор, живет барином, в чертовски большом доме, ездит на паре, как бы в «пику» Приклонским, которые ходят пешком и долго торгуются при найме экипажа.

— Он всеми уважаем, — сказала княгиня, плача и не утирая слез, — всеми любим, богат, красавец, везде принят… Твой-то слуга бывший, племянник Никифора! Стыдно сказать! А почему? А потому, что он ведет себя хорошо, не кутит, с худыми людьми не знается… Работает от утра до ночи… А ты? Боже мой, господи!

Княжна Маруся, девушка лет двадцати, хорошенькая, как героиня английского романа, с чудными кудрями льняного цвета, с большими умными глазами цвета южного неба, умоляла брата Егорушку с неменьшей энергией.

Она говорила в одно и то же время с матерью и целовала брата в его колючие усы, от которых пахло прокисшим вином, гладила его по плеши, по щекам и жалась к нему, как перепуганная собачонка. Она не говорила ничего, кроме нежных слов. Княжна была не в состоянии говорить брату что-либо даже похожее на колкость. Она

так любила брата! По ее мнению, ее развратный брат, отставной гусар, князь Егорушка, был выразителем самой высшей правды и образцом добродетели самого высшего качества! Она была уверена, уверена до фанатизма, что этот пьяный дурандас имеет сердце, которому могли бы позавидовать все сказочные феи. Она видела в нем неудачника, человека непонятого, непризнанного. Его пьяное распутство извиняла она почти с восторгом. Еще бы! Егорушка давно уж убедил ее, что он пьет с горя: вином и водкой заливает он безнадежную любовь, которая жжет его душу, и в объятиях развратных девок он старается вытеснить из своей гусарской головы ее чудный образ. А какая Маруся, какая женщина не считает любовь тысячу раз уважительной, всё извиняющей причиной? Какая?

— Жорж! — говорила Маруся, прижимаясь к нему и целуя его испитое, красноносое лицо. — Ты с горя пьешь, это правда… Но забудь свое горе, если так! Неужели все несчастные должны пить? Ты терпи, мужайся, борись! Богатырем будь! При таком уме, как у тебя, с такой честной, любящей душой можно сносить удары судьбы! О! Вы, неудачники, все малодушны!..

И Маруся (простите ей, читатель!) вспомнила

тургеневского Рудина и принялась толковать о нем Егорушке.

Князь Егорушка лежал на кровати и своими красными, кроличьими глазками глядел в потолок. В голове его слегка шумело, а в области желудка чувствовалась приятная сытость. Он только что пообедал, выпил бутылку красного и теперь, куря трехкопеечную сигарку, кейфствовал. Самые разнокалиберные чувства и помыслы копошились в его отуманенных мозгах и ноющей душонке. Ему было жаль плачущую мать и сестру, и в то же время ему сильно хотелось выгнать их из комнаты: они мешали ему вздремнуть, всхрапнуть… Он сердился за то, что ему осмеливаются читать нотации, и в то же время его мучили маленькие угрызения (вероятно, тоже очень маленькой) совести. Он был глуп, но не настолько, чтобы не сознавать, что дом Приклонских действительно погибает и отчасти по его милости…

Княгиня и Маруся умоляли очень долго. В гостиной зажгли огни, и пришла какая-то гостья, а они всё умоляли. Наконец Егорушке надоело валяться и не спать. Он с треском потянулся и сказал:

— Ладно, исправлюсь!

— Честное и благородное слово?

— Накажи меня бог!

Мать и сестра ухватились за него руками и заставили еще раз побожиться и поклясться честью. Егорушка еще раз побожился, поклялся честью и сказал, что пусть гром разразит его на этом самом месте, если он не перестанет вести беспорядочную жизнь. Княгиня заставила его поцеловать образ. Он поцеловал и образ, причем перекрестился три раза. Клятва была дана, одним словом, самая настоящая.

— Мы тебе верим! — сказали княгиня и Маруся и бросились обнимать Егорушку.

Они ему поверили. Ну как не поверить честнейшему слову, отчаянной божбе и целованию образа, взятым вместе? И к тому же где любовь — там и бесшабашная вера. Они ожили и обе, сияющие, подобно иудеям, праздновавшим обновление Иерусалима, пошли праздновать обновление Егорушки. Выпроводив гостью, они сели в уголок и принялись шептаться о том, как исправится их Егорушка, как он поведет новую жизнь… Они порешили, что Егорушка далеко пойдет, что он скоро поправит обстоятельства и им не придется терпеть крайней бедности — этот постылый Рубикон, переход через который приходится переживать всем промотавшимся.

Порешили даже, что Егорушка обязательно женится на богачке и красавице. Он так красив, умен и так знатен, что едва ли найдется такая женщина, которая осмелится не полюбить его! В заключение княгиня рассказала биографии предков, которым скоро начнет подражать Егорушка. Дед Приклонский был посланником и говорил на всех европейских языках, отец был командиром одного из известнейших полков, сын же будет… будет… чем он будет?

— Вот вы увидите, чем он будет! — порешила княжна. — Вот вы увидите!

Уложив друг друга в постель, они еще долго толковали о прекрасном будущем. Сны снились им, когда они уснули, самые восхитительные. Спящие, они улыбались от счастья, — так хороши были сны! Этими снами судьба, по всей вероятности, заплатила им за те ужасы, которые они пережили на следующий день. Судьба не всегда скупа: иногда и она платит вперед.

Часа в три ночи, как раз именно в то время, когда княгине снился ее bebé[1] в блестящем генеральском мундире, а Маруся аплодировала во сне брату, сказавшему блестящую речь, к дому

---

[1] Примечания: 1
малютка *(франц.)*

князей Приклонских подъехала простая извозчичья пролетка. В пролетке сидел официант из «Шато де Флер» и держал в своих объятиях благородное тело мертвецки пьяного князя Егорушки. Егорушка был в самом бесчувственном состоянии и в объятиях «челаэка» болтался, как гусь, которого только что зарезали и несут в кухню. Извозчик соскочил с козел и позвонил у подъезда. Вышли Никифор и повар, заплатили извозчику и понесли пьяное тело вверх по лестнице. Старый Никифор, не удивляясь и не ужасаясь, привычной рукою раздел неподвижное тело, уложил поглубже в перину и укрыл одеялом. Прислугой не было сказано ни одного слова. Она давным-давно уже привыкла видеть в своем барине нечто такое, что нужно носить, раздевать, укрывать, а потому она нимало не удивлялась и не ужасалась. Пьяный Егорушка был для нее нормой.

На другой день, утром, пришлось ужаснуться.

Часов в одиннадцать, когда княгиня и Маруся пили кофе, вошел в столовую Никифор и доложил их сиятельствам, что с князем Егорушкой творится что-то неладное.

— Должно полагать, помирают-с! — сказал Никифор. — Извольте посмотреть!

Лица княгини и Маруси стали белы, как по-

лотно. Изо рта княгини выпал кусочек бисквита. Маруся опрокинула чашку и обеими руками ухватилась за грудь, в которую застучало врасплох застигнутое, встревоженное сердце.

— В три часа ночи приехали навеселе, стало быть, — докладывал Никифор дрожащим голосом. — Как обнаковенно… Ну, а теперь, господь их знает, от чего это, мечутся и стонут…

Княгиня и Маруся ухватились друг за друга и побежали в спальную Егорушки.

Егорушка, бледно-зеленый, растрепанный, сильно похудевший, лежал под тяжелым байковым одеялом, тяжело дышал, дрожал и метался. Голова и руки его ни на минуту не оставались в покое, двигались и вздрагивали. Из груди вырывались стоны. На усах висел маленький кусочек чего-то красного, по-видимому крови. Если бы Маруся нагнулась к его лицу, она увидела бы ранку на верхней губе и отсутствие двух зубов на верхней челюсти. От всего тела веяло жаром и спиртным запахом.

Княгиня и Маруся пали на колени и зарыдали.

— Это мы виноваты в его смерти! — сказала Маруся, хватая себя за голову. — Мы вчера огорчили его своими упреками, и… он не перенес этого! У него нежная душа! Мы виноваты, maman!

И в сознании своей виновности они обе широко раскрыли глаза и, дрожа всем телом, прижались друг к другу. Так дрожат и жмутся друг к другу видящие, что над ними сейчас с шумом и страшным треском обвалится потолок и раздавит их под своею тяжестью.

Повар догадался сбегать за доктором. Пришел доктор, Иван Адольфович, маленький человечек, весь состоящий из очень большой лысины, глупых свиньих глазок и круглого животика. Ему обрадовались, как отцу родному. Он понюхал воздух в спальной Егорушки, пощупал пульс, глубоко вздохнул и поморщился.

— Вы не беспокойтесь, ваше сиятельство! — сказал он княгине умоляющим голосом. — Я не знай, но, по моему мнений, ваше сиятельство, я не нахожу, чтобы ваш сын был в большой, так сказать, опасности… Ничво!

Марусе же он сказал совершенно другое:

— Я не знай, княжна, но, по моему мнений… У всякого свое мнений, княжна. По моему мнений, его сиятельство… пфф!.. швах, как говорит немец… Но всё зависит… зависит, так сказать, от кризис.

— Опасно? — тихо спросила Маруся.

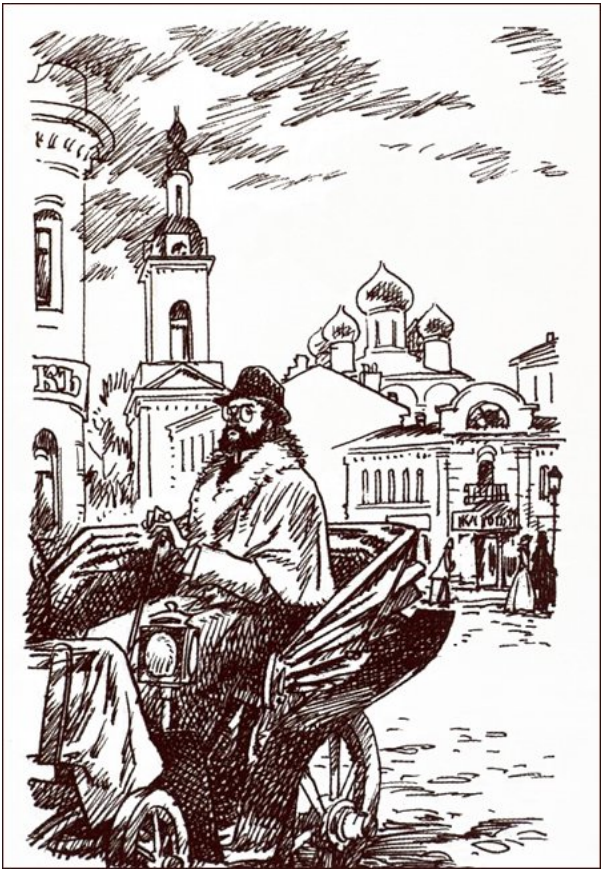
Иван Адольфович наморщил лоб и принялся

доказывать, что у всякого свое мнение… Ему дали трехрублевку. Он поблагодарил, сконфузился, покашлял и улетучился.

Придя в себя, княгиня и Маруся решили послать за знаменитостью. Дороги знаменитости, но… что ж делать? Жизнь близкого человека дороже денег. Повар побежал к Топоркову. Дома, разумеется, он его не застал. Пришлось оставить записку.

Топорков не скоро отозвался на приглашение. Ждали его, с замиранием сердца, с тревогой, день, ждали всю ночь, утро… Хотели даже послать за другим доктором и порешили назвать Топоркова невежей, когда он приедет, назвать прямо в лицо, чтобы он не смел в другой раз заставлять других ожидать себя так долго. Обитатели дома князей Приклонских, несмотря на свое горе, были возмущены до глубины души. Наконец в два часа другого дня к подъезду подкатила коляска. Никифор стремительно засеменил к двери и через несколько секунд наипочтительнейше стаскивал с плеч своего племянника драповое пальто. Топорков кашлем дал знать о своем приходе и, никому не кланяясь, пошел в комнату больного. Прошел он через зал, гостиную и столовую, ни на кого не глядя, важно, по-генеральски, на весь дом

скрипя своими сияющими сапогами. Его огромная фигура внушала уважение. Он был статен, важен, представителен и чертовски правилен, точно из слоновой кости выточен. Золотые очки и до крайности серьезное, неподвижное лицо дополняли его горделивую осанку. По происхождению он плебей, но плебейского в нем, кроме сильно развитой мускулатуры, почти ничего нет. Всё — барское и даже джентльменское. Лицо розовое, красивое и даже, если верить его пациенткам, очень красивое. Шея белая, как у женщины. Волосы мягки, как шёлк, и красивы, но, к сожалению, подстрижены. Занимайся Топорков своею наружностью, он не стриг бы этих волос, а дал бы им виться до самого воротника. Лицо красивое, но слишком сухое и слишком серьезное для того, чтобы казаться приятным. Оно, сухое, серьезное и неподвижное, ничего не выражало, кроме сильного утомления целодневным тяжелым трудом.



Маруся пошла навстречу Топоркову и, ломая

перед ним руки, начала просить. Ранее она никогда и ни у кого не просила.

— Спасите его, доктор! — сказала она, поднимая на него свои большие глаза. — Умоляю вас! На вас вся надежда!

Топорков обошел Марусю и направился к Егорушке.

— Открыть вентиляции! — скомандовал он, войдя к больному. — Почему не открыты вентиляции? Дышать чем же?

Княгиня, Маруся и Никифор бросились к окнам и печи. В окнах, в которые уже были вставлены двойные рамы, вентиляций не оказалось. Печь не топилась.

— Вентиляций нет, — робко сказала княгиня.

— Странно… Гм… Лечи вот при таких условиях! Я лечить не стану!

И чуточку возвысив голос, Топорков прибавил:

— Несите его в зал! Там не так душно. Позовите людей!

Никифор бросился к кровати и стал у изголовья. Княгиня, краснея, что у нее, кроме Никифора, повара и полуслепой горничной, нет более прислуги, взялась за кровать. Маруся тоже взялась за кровать и потянула изо всех сил. Дряхлый старик и две слабые женщины с кряхтеньем подняли

кровать и, не веря своим силам, спотыкаясь и боясь уронить, понесли. У княгини порвалось на плечах платье и что-то оторвалось в животе, у Маруси позеленело в глазах и страшно заболели руки, — так был тяжел Егорушка! А он, доктор медицины Топорков, важно шагал за кроватью и сердито морщился, что у него отнимают время на такие пустяки. И даже пальца не протянул, чтобы помочь дамам! Этакая скотина!..

Кровать поставили рядом с роялью. Топорков сбросил одеяло и, задавая княгине вопросы, принялся раздевать мечущегося Егорушку. Сорочка была сдернута в одну секунду.

— Вы покороче, пожалуйста! Это к делу не относится! — отчеканивал Топорков, слушая княгиню. — Лишние могут уйти отсюда!

Постучав молоточком по Егорушкиной груди, он перевернул больного на живот и опять постукал; с сопеньем выслушал (доктора всегда сопят, когда выслушивают) и констатировал неосложненную пьянственную горячку.

— Не мешает надеть горячечную рубаху, — сказал он своим ровным, отчеканивающим каждое слово, голосом.

Давши еще несколько советов, он написал рецепт и быстро пошел к двери. Когда он писал

рецепт, он спросил, между прочим, фамилию Егорушки.

— Князь Приклонский, — сказала княгиня.

— Приклонский? — переспросил Топорков.

«Как же скоро ты забыл фамилию своих бывших… помещиков!» — подумала княгиня.

Слово «господ» княгиня не сумела подумать: фигура бывшего крепостного была слишком внушительна!

В передней она подошла к нему и с замиранием сердца спросила:

— Доктор, он не опасен?

— Я думаю.

— По вашему мнению, выздоровеет?

— Полагаю, — ответил холодно доктор и, слегка кивнув головой, пошел вниз по лестнице к своим лошадям, таким же статным и важным, как и он сам.

По уходе доктора княгиня и Маруся, впервые после суточного томления, свободно вздохнули. Знаменитость Топорков подал им надежду.

— Как он внимателен, как мил! — сказала княгиня, в душе благословляя всех докторов на свете. Матери любят медицину и верят в нее, когда больны их дети!

— Ва-а-ажный господин! — заметил Никифор,

давно уже не видавший в барском доме никого, кроме забулдыг-кутил, товарищей Егорушки. Старикашке и не снилось, что этот важный господин был не кто иной, как тот самый запачканный Колька, которого ему не раз приходилось во время оно вытаскивать за ноги из-под водовозни и сечь.

Княгиня скрывала от него, что его племянник доктор.

Вечером, по заходе солнца, с изнемогшей от горя и усталости Марусей приключился вдруг сильный озноб; этот озноб свалил ее в постель. За ознобом последовали сильный жар и боль в боку. Всю ночь она пробредила и простонала:

— Я умираю, maman!



И Топоркову, приехавшему в десятом часу утра,

пришлось лечить вместо одного двоих: князя Егорушку и Марусю. У Маруси нашел он воспаление легкого.

В доме князей Приклонских запахло смертью. Она, невидимая, но страшная, замелькала у изголовья двух кроватей, грозя ежеминутно старухе-княгине отнять у нее ее детей. Княгиня обезумела с отчаяния.

— Не знаю-с! — говорил ей Топорков. — Не могу я знать-с, я не пророк. Ясно будет через несколько дней.

Говорил он эти слова сухо, холодно и резал ими несчастную старуху. Хоть бы одно слово надежды! К довершению ее несчастья, Топорков почти ничего не прописывал больным, а занимался одними только постукиваниями, выслушиваниями и выговорами за то, что воздух не чист, компресс поставлен не на месте и не вовремя. А все эти новомодные штуки считала старуха ни к чему не ведущими пустяками. День и ночь не переставая слонялась она от одной кровати к другой, забыв всё на свете, давая обеты и молясь.

Горячку и воспаление легких считала она самыми смертельными болезнями, и, когда в мокроте Маруси показалась кровь, она вообразила, что у княжны «последний градус чахотки», и упала

в обморок.

Можете же вообразить себе ее радость, когда княжна на седьмой день болезни улыбнулась и сказала:

— Я здорова.

На седьмой день очнулся и Егорушка. Молясь, как на полубога, смеясь от счастья и плача, княгиня подошла к приехавшему Топоркову и сказала:

— Я обязана вам, доктор, спасением моих детей! Благодарю!

— Что-с?

— Я обязана вам многим! Вы спасли моих детей!

— А… Седьмые сутки! Я ожидал на пятые. Впрочем, всё равно. Давать этот порошок утром и вечером. Компресс продолжать. Это тяжелое одеяло можно заменить более легким. Сыну давайте кислое питье. Завтра вечером заеду.

И знаменитость, кивнув головой, мерным, генеральским шагом зашагала к лестнице.

II

День ясный, прозрачный, слегка морозный, один из тех осенних дней, в которые охотно миришься и с холодом, и с сыростью, и с тяжелыми калошами. Воздух прозрачен до того, что виден клюв у галки, сидящей на самой высокой колокольне; он весь пропитан запахом осени. Выйдите вы на улицу, и ваши щеки покроются здоровым, широким румянцем, напоминающим хорошее крымское яблоко. Давно опавшие желтые листья, терпеливо ожидающие первого снега и попираемые ногами, золотятся на солнце, испуская из себя лучи, как червонцы. Природа засыпает тихо, смирно. Ни ветра, ни звука. Она, неподвижная и немая, точно утомленная за весну и лето, нежится под греющими, ласкающими лучами солнца, и, глядя на этот начинающийся покой, вам самим хочется успокоиться…

Таков был день, когда Маруся и Егорушка сидели у окна и в последний раз поджидали Топоркова. Свет, греющий, ласкающий, бил и в окна Приклонских; он играл на коврах, стульях, рояле. Всё было залито этим светом. Маруся и

Егорушка глядели в окно на улицу и праздновали свое выздоровление. Выздоравливающие, в особенности если они молоды, всегда очень счастливы. Они чувствуют и понимают здоровье, чего не чувствует и не понимает обыкновенный здоровый человек. Здоровье есть свобода, а кто, кроме отпущенников, наслаждается сознанием свободы? Маруся и Егорушка каждую минуту чувствовали себя отпущенниками. Как им было хорошо! Им хотелось дышать, глядеть в окна, двигаться — жить, одним словом, и все эти желания исполнялись каждую секунду. Фуров, протестовавший векселя, сплетни, Егорушкино поведение, бедность — всё было забыто. Не забыты были одни только приятные, не волнующие вещи: хорошая погода, предстоящие балы, добрая maman и… доктор. Маруся смеялась и говорила без умолку. Главной темой разговора был доктор, которого ожидали каждую минуту.

— Удивительный человек, всемогущий человек! — говорила она. — Как всемогуще его искусство! Посуди, Жорж, какой высокий подвиг: бороться с природой и побороть!

И говорила она, ставя руками и глазами после каждой напыщенной, но искренно сказанной фразы большой восклицательный знак.

Егорушка слушал восторженную речь сестры, мигал глазками и поддакивал. Он сам уважал строгое лицо Топоркова и был уверен, что своим выздоровлением обязан одному только ему. Maman сидела возле и, сияющая, ликующая, разделяла восторги детей.

Ей нравилось в Топоркове не только уменье лечить, но и «положительность», которую она успела прочесть на лице доктора. Старым людям почему-то сильно нравится эта «положительность».

— Жаль только, что он… он такого низкого происхождения, — сказала княгиня, робко взглянув на дочь. — И ремесло его… не особенно чистое. Вечно в разной разности копается… Фи!

Княжна вспыхнула и пересела на другое кресло, подальше от матери. Егорушку тоже покоробило.

Он терпеть не мог барской спеси и важничанья.

Бедность хоть кого научит! Ему не раз приходилось испытать на самом себе важничанье людей, которые были богаче его.

— В нынешние времена, муттер, — сказал он, презрительно подергивая плечами, — у кого есть голова на плечах и большой карман в панта-

лонах, тот и хорошего происхождения, а у кого вместо головы седалище тела человеческого, а вместо кармана мыльный пузырь, тот… нуль, вот что-с!

Говоря это, Егорушка попугайничал. Эти самые слова слышал он два месяца тому назад от одного семинариста, с которым подрался в биллиардной.

— Я с удовольствием променял бы свое княжество на его голову и карман, — добавил Егорушка.

Маруся подняла на брата глаза, полные благодарности.

— Я сказала бы вам многое, maman, но вы не поймете, — вздохнула она. — Вас ничем не разубедишь… Очень жаль!

Княгиня, уличенная в рутинерстве, сконфузилась и принялась оправдываться.

— Впрочем, в Петербурге я знавала одного доктора — барона, — сказала она. — Да, да… И за границей тоже… Это правда… Образование много значит. Ну, да…

В первом часу приехал Топорков. Он вошел так же, как и в первый раз: вошел важно, ни на кого не глядя.

— Не употреблять спиртных напитков и избе-

гать, по возможности, излишеств, — обратился он к Егорушке, положив шляпу. — Следить за печенью. Она у вас уже значительно увеличена. Увеличение ее следует всецело отнести на счет употребления напитков. Пить прописанные воды.

И, повернувшись к Марусе, он преподал и ей несколько заключительных советов.

Маруся выслушала со вниманием, точно интересную сказку, глядя прямо в глаза ученому человеку.

— Ну-с? Вы, полагаю, поняли? — спросил ее Топорков.

— О да! Merci.

Визит продолжался ровно четыре минуты.

Топорков кашлянул, взялся за шляпу и кивнул головой. Маруся и Егорушка впились глазами в мать. Маруся даже покраснела.

Княгиня, покачиваясь, как утка, и краснея, подошла к доктору и неловко всунула свою руку в его белый кулак.

— Позвольте вас поблагодарить! — сказала она.

Егорушка и Маруся опустили глаза. Топорков поднес кулак к очкам и узрел сверток. Не конфузясь и не опуская глаз, он помочил во рту палец

и чуть слышно сосчитал кредитные билеты. Он насчитал двенадцать двадцатипятирублевок. Недаром Никифор бегал куда-то вчера с ее браслетами и серьгами! По лицу Топоркова пробежала светлая тучка, нечто вроде сияния, с которым пишут святых; рот слегка передернула улыбка. По-видимому, он остался очень доволен вознаграждением. Сосчитав деньги и положив их в карман, он еще раз кивнул головой и повернулся к двери.

Княгиня, Маруся и Егорушка впились глазами в докторскую спину, и все трое разом почувствовали, что у них сжимается сердце. Глаза их затеплились хорошим чувством: этот человек уходил и больше не придет, а они уже привыкли к его мерным шагам, отчеканивающему голосу и серьезному лицу. В голове матери мелькнула маленькая идейка. Ей вдруг захотелось приласкать этого деревянного человека.

«Сирота он, бедный, — подумала она. — Одинокий».

— Доктор, — сказала она мягким, старушечьим голосом.

Доктор оглянулся.

— Что-с?

— Не выпьете ли вы с нами стакан кофе? Будьте

так добры!

Топорков наморщил лоб и медленно потянул из кармана часы. Взглянув на часы и немного подумав, он сказал:

— Я выпью чаю.

— Садитесь, пожалуйста! Вот сюда!

Топорков положил шляпу и сел; сел прямо, как манекен, которому согнули колени и выпрямили плечи и шею. Княгиня и Маруся засуетились. У Маруси сделались большие глаза, озабоченные, точно ей задали неразрешимую задачу. Никифор, в черном поношенном фраке и серых перчатках, забегал по всем комнатам. Во всех концах дома застучала чайная посуда и посыпались со звоном чайные ложки. Егорушку зачем-то вызвали на минуту из залы, вызвали потихоньку, таинственно.

Топорков, в ожидании чая, просидел минут десять. Сидел он и глядел на педаль рояля, не двигаясь ни одним членом и не издавая ни звука. Наконец отворилась из гостиной дверь. Показался сияющий Никифор с большим подносом в руках. На подносе, в серебряных подстаканниках, стояли два стакана: один для доктора, другой для Егорушки. Вокруг стаканов, соблюдая строгую симметрию, стояли молочники с сырыми и топ-

леными сливками, сахар с щипчиками, кружки лимона с вилочкой и бисквиты.

За Никифором шел с притупленной от важности физиономией Егорушка.

Шествие замыкали княгиня, с вспотевшим лбом, и Маруся, с большими глазами.

— Кушайте, пожалуйста! — обратилась княгиня к Топоркову.

Егорушка взял стакан, отошел в сторону и осторожно отхлебнул. Топорков взял стакан и тоже отхлебнул. Княгиня и княжна сели в стороне и занялись изучением докторской физиономии.

— Вам, может быть, не сладко? — спросила княгиня.

— Нет, достаточно сладко.

И, как и следовало ожидать, наступило молчание — жуткое, противное, во время которого почему-то чувствуется ужасно неловкое положение и желание сконфузиться. Доктор пил и молчал. Видимо, он игнорировал окружающих и не видел пред собой ничего, кроме чая.

Княгиня и Маруся, которым ужасно хотелось поговорить с умным человеком, не знали, с чего начать; обе боялись показаться глупыми. Егорушка смотрел на доктора, и по глазам его видно было, что он собирается что-то спросить и никак не

соберется. Тишина воцарилась гробовая, изредка нарушаемая глотательными звуками. Топорков глотал очень громко. Он, видимо, не стеснялся и пил, как хотел. Глотая, он издавал звуки, очень похожие на звук «глы». Глоток, казалось, изо рта падал в какую-то пропасть и там шлепался обо что-то большое, гладкое. Тишину нарушал изредка и Никифор; он то и дело чамкал губами и жевал, точно на вкус пробовал доктора-гостя.

— Правду говорят, что курить вредно? — собрался наконец спросить Егорушка.

— Никотин, алкалоид табака, действует на организм как один из сильных ядов. Яд, который вводится в организм каждой папиросой, ничтожен количеством, но зато введение его продолжительно. Количество яда, как и энергия его, находится в обратном отношении с продолжительностью потребления.

Княгиня и Маруся переглянулись: какой он умница! Егорушка замигал глазами и вытянул свою рыбью физиономию. Он, бедняга, не понял доктора.

— У нас в полку, — начал он, желая ученый разговор свести на обыкновенный, — был один офицер. Некто Кошечкин, очень порядочный малый. Ужасно на вас похож! Ужасно! Как две

капли воды. Отличить даже невозможно! Он вам не родственник?

Доктор вместо ответа издал громкий глотательный звук, и углы его губ слегка приподнялись и поморщились в презрительную улыбку. Он заметно презирал Егорушку.

— Скажите мне, доктор, я окончательно выздоровела? — спросила Маруся. — Могу я рассчитывать на полное выздоровление?

— Полагаю. Я рассчитываю на полное выздоровление, на основании…

И доктор, высоко держа голову и в упор глядя на Марусю, начал толковать об исходах воспаления легких. Говорил он мерно, отчеканивая каждое слово, не возвышая и не понижая голоса. Его слушали более чем охотно, с наслаждением, но, к сожалению, этот сухой человек не умел популяризировать и не считал нужным подтасовываться под чужие мозги. Он упомянул несколько раз слово «абсцесс», «творожистое перерождение» и вообще говорил очень хорошо и красиво, но очень непонятно. Прочел целую лекцию, пересыпанную медицинскими терминами, и не сказал ни одной фразы, которую поняли бы слушатели. Однако это не помешало слушателям сидеть разинув рты и глядеть на ученого почти

с благоговением. Маруся не отрывала глаз от его рта и ловила каждое слово. Она глядела на него и сравнивала его лицо с теми лицами, которые ей приходится каждый день видеть.

Как не похожи были на это ученое, утомленное лицо испитые, тупые лица ее ухаживателей, друзей Егорушки, которые ежедневно надоедают ей своими визитами! Лица кутил и забулдыг, от которых она, Маруся, ни разу не слыхала ни одного доброго, порядочного слова, и в подметки не годились этому холодному, бесстрастному, по умному, надменному лицу.

«Прелестное лицо! — думала Маруся, восхищаясь и лицом, и голосом, и словами. — Какой ум и сколько знаний! Зачем Жорж военный? И ему бы быть ученым».

Егорушка смотрел с умилением на доктора и думал:

«Если он говорит об умных вещах, то, значит, считает нас умными. Это хорошо, что мы поставили себя так в обществе. Ужасно, однако, глупо я сделал, что соврал про Кошечкина».

Когда доктор кончил свою лекцию, слушатели глубоко вздохнули, точно совершили какой-нибудь славный подвиг.

— Как хорошо всё знать! — вздохнула княгиня.

Маруся поднялась и, как бы желая отблагодарить доктора за лекцию, села за рояль и ударила по клавишам. Ей сильно захотелось втянуть доктора в разговор, втянуть поглубже, почувствительней, а музыка всегда наводит на разговоры. Да и похвастать своими способностями захотелось перед умным, понимающим человеком…

— Это из Шопена, — заговорила княгиня, томно улыбаясь и держа руки, как институтка. — Прелестная вещь! Она у меня, доктор, смею похвастать, и певица прелестная. Моя ученица… Я в былые времена была обладательницей роскошного голоса. А вот эта… Вы ее знаете?

И княгиня назвала фамилию одной известной русской певицы.

— Она мне обязана… Да-с… Я давала ей уроки. Милая была девушка! Она была отчасти родственницей моего покойного князя… Вы любите пение? Впрочем, зачем я это спрашиваю? Кто не любит пения?

Маруся начала играть лучшее место в вальсе и обернулась с улыбкой. Ей нужно было прочесть на лице доктора: какое впечатление произвела на него ее игра?

Но не удалось ей ничего прочесть. Лицо доктора было по-прежнему безмятежна и сухо. Он

быстро допивал чай.

— Я влюблена в это место, — сказала Маруся.

— Благодарствую, — сказал доктор. — Больше не хочу.

Он сделал последний глоток, поднялся и взялся за шляпу, не выражая ни малейшего желания дослушать вальс до конца. Княгиня вскочила. Маруся сконфузилась и, обиженная, закрыла рояль.

— Вы уже уходите? — заговорила княгиня, сильно хмурясь. — Не хотите ли еще чего? Надеюсь, доктор… Дорогу вы теперь знаете. Вечерком, когда-нибудь… Не забывайте нас…

Доктор кивнул два раза головой, неловко пожал протянутую княжной руку и молча пошел к своей шубе.

— Лед! Дерево! — заговорила княгиня по уходе доктора. — Это ужасно! Смеяться не умеет, деревяшка этакая! Напрасно ты для него играла, Мари! Точно для чая одного остался! Выпил и ушел!

— Но как он умен, maman! Очень умен! С кем же ему говорить у нас? Я неуч, Жорж скрытен и всё молчит… Разве мы можем поддерживать умный разговор? Нет!

— Вот вам и плебей! Вот вам и племянник Никифора! — сказал Егорушка, выпивая из

молочников сливки. — Каков? Рационально, индифферентно, субъективно... Так и сыпит, шельма! Каков плебей? А коляска-то какая! Посмотрите! Шик!

И все трое посмотрели в окно на коляску, в которую садилась знаменитость в большой медвежьей шубе. Княгиня покраснела от зависти, а Егорушка значительно подмигнул глазом и свистнул. Маруся не видела коляски. Ей некогда было видеть ее: она рассматривала доктора, который произвел на нее сильнейшее впечатление. На кого не действует новизна?

А Топорков для Маруси был слишком нов...

Выпал первый снег, за ним второй, третий, и затянулась надолго зима со своими трескучими морозами, сугробами и сосульками. Не люблю я зимы и не верю тому, кто говорит, что любит ее. Холодно на улице, дымно в комнатах, мокро в калошах. То суровая, как свекровь, то плаксивая, как старая дева, со своими волшебными лунными ночами, тройками, охотой, концертами и балами, зима надоедает очень быстро и слишком долго тянется, для того чтобы отравить не одну бесприютную, чахоточную жизнь.

Жизнь в доме князей Приклонских потекла своим чередом. Егорушка и Маруся совершенно

уже выздоровели, и даже мать перестала считать их больными. Обстоятельства, как и прежде, не думали поправляться. Дела становились всё хуже и хуже, денег становилось всё меньше и меньше… Княгиня заложила и перезаложила все свои драгоценности, фамильные и благоприобретенные. Никифор по-прежнему болтал в лавочке, куда посылали его брать в кредит разную мелочь, что господа должны ему триста рублей и не думают платить. То же самое болтал и повар, которому, из сострадания, подарил лавочник свои старые сапоги. Фуров стал еще настойчивее. Ни на какие отсрочки он более не соглашался и говорил княгине дерзости, когда та умоляла его подождать протестовать вексель. С легкой руки Фурова загалдели и другие кредиторы. Каждое утро княгине приходилось принимать нотариусов, судебных приставов и кредиторов. Затевался, кажется, конкурс по делам о несостоятельности.

Подушка княгини по-прежнему не высыхала от слез.

Днем княгиня крепилась, ночью же давала полную свободу слезам и плакала вею ночь, вплоть до утра. Не нужно было ходить далеко, чтобы отыскать причину для такого плача. Причины были под самым носом: они резали глаза своею

рельефностью и яркостью. Бедность, ежеминутно оскорбляемое самолюбие, оскорбляемое… кем? ничтожными людишками, разными Фуровыми, поварами, купчишками. Любимые вещи шли в заклад, разлука с ними резала княгиню в самое сердце. Егорушка по-прежнему вел беспорядочную жизнь, Маруся не была еще пристроена… Мало ли причин для того, чтобы плакать? Будущее было туманно, но и сквозь туман княгиня усматривала зловещие призраки. Плохая надежда была на это будущее. На него не надеялись, а его боялись…

Денег становилось всё меньше и меньше, а Егорушка кутил всё больше и больше; кутил он настойчиво, с ожесточением, как бы желая наверстать время, утерянное во время болезни. Он пропивал всё, что имел и чего не имел, свое и чужое. В своем распутстве он был дерзок и нахален до чёртиков. Занять денег у первого встречного ему ничего не стоило. Садиться играть в карты, не имея в кармане ни гроша, было у него обыкновением, а попить и пожрать на чужой счет, прокатиться с шиком на чужом извозчике и не заплатить извозчику не считалось грехом. Изменился он очень мало: прежде он сердился, когда над ним смеялись, теперь же он только

слегка конфузился, когда его выталкивали или выводили.

Изменилась одна только Маруся. У нее была новость, и новость самая ужасная. Она стала разочаровываться в брате. Ей почему-то вдруг стало казаться, что он не похож на человека непризнанного, непонятого, что он просто-напросто самый обыкновенный человек, такой же человек, как и все, даже еще хуже… Она перестала верить в его безнадежную любовь. Ужасная новость! Просиживая по целым часам у окна и глядя бесцельно на улицу, она воображала себе лицо брата и силилась прочесть на нем что-нибудь стройное, не допускающее разочарования, но ничего не удавалось прочесть ей на этом бесцветном лице, кроме: пустой человек! дрянь человек! Рядом с этим лицом мелькали в ее воображении лица его товарищей, гостей, старушек-утешительниц, женихов и плаксивое, тупое от горя, лицо самой княгини, и тоска сжимала бедное сердце Маруси. Как пошло, бесцветно и тупо, как глупо, скучно и лениво около этих родных, любимых, но ничтожных людей!

Тоска сжимала ее сердце, и дух захватывало от одного страстного, еретического желания… Бывали минутки, когда ей страстно хотелось

уйти, но куда? Туда, разумеется, где живут люди, которые не дрожат перед бедностью, не развратничают, работают, не беседуют по целым дням с глупыми старухами и пьяными дураками… И в воображении Маруси торчало гвоздем одно порядочное, разумное лицо; на этом лице она читала и ум, и массу знаний, и утомление. Лица этого нельзя было забыть. Она видела его каждый день и в самой счастливой обстановке, именно в то время, когда владелец его работал или делал вид, что работает.

Доктор Топорков каждый день пролетал мимо дома Приклонских на своих роскошных санках с медвежьим пологом и толстым кучером. Пациентов у него было очень много. Делал визиты он от раннего утра до позднего вечера и успевал за день изъездить все улицы и переулки. Сидел он в санях так же, как и в кресле: важно, держа прямо голову и плечи, не глядя по сторонам. Из-за пушистого воротника его медвежьей шубы ничего не было видно, кроме белого, гладкого лба и золотых очков, но Марусе достаточно было и этого. Ей казалось, что из глаз этого благодетеля человечества идут сквозь очки лучи холодные, гордые, презирающие.

«Этот человек имеет право презирать! — дума-

ла она. — Он мудр! А какие, однако, роскошные санки, какие чудные лошадки! И это бывший крепостной! Каким нужно быть силачом, чтобы родиться лакеем, а сделаться таким, как он, неприступным!»

Одна только Маруся помнила доктора, остальные же начали забывать его и скоро совершенно забыли бы, если бы он не напомнил о себе. Напомнил о себе он слишком чувствительно.

На второй день Рождества, в полдень, когда Приклонские были дома, в передней робко звякнул звонок. Никифор отворил дверь.

— Княгинюшка до-о-о-ма? — послышался из передней старушечий голос, и, не дожидаясь ответа, в гостиную вползла маленькая старушонка. — Здравствуйте, княгинюшка, ваше сиятельство… благодетельница! Как поживать изволите?

— Что вам угодно? — спросила княгиня, с любопытством глядя на старуху. Егорушка прыснул в кулак. Ему показалось, что голова старухи похожа на маленькую переспелую дыню, хвостиком вверх.

— Не признаете, матушка? Неужто не помните? А Прохоровну забыли? Князеньку вашего принимала!

И старушонка подползла к Егорушке и быстро

чмокнула его в грудь и руку.

— Я не понимаю, — забормотал сердито Егорушка, утирая руку о сюртук. — Этот старый чёрт, Никифор, впускает всякую дрр…

— Что вам угодно? — повторила княгиня, и ей показалось, что от старухи сильно пахнет деревянным маслом.

Старуха уселась в кресло и после длиннейших предисловий, ухмыляясь и кокетничая (свахи всегда кокетничают), заявила, что у княгини есть товар, а у нее, старухи, купец. Маруся вспыхнула. Егорушка фыркнул и, заинтересованный, подошел к старухе.

— Странно, — сказала княгиня. — Сватать, значит, пришли? Поздравляю тебя, Мари, с женихом! А кто он? Можно узнать?

Старуха запыхтела, полезла за пазуху и вытащила оттуда красный ситцевый платок. Развязав на платке узелки, она потрясла его над столом, и вместе с наперстком упала фотографическая карточка.

Все покрутили носом: от красного платка с желтыми цветами понесло табачным запахом.

Княгиня взяла карточку и лениво поднесла ее к глазам.

— Красавец, матушка! — принялась сваха по-

яснять изображение. — Богат, благородный… Чудесный человек, тверезый…

Княгиня вспыхнула и подала карточку Марусе. Та побледнела.

— Странно, — сказала княгиня. — Если доктору угодно, то, полагаю, сам бы он мог… Посредничество тут менее всего нужно!.. Образованный человек, и вдруг… Он вас послал? Сам?

— Сами… Уж больно ему понравились вы… Семейство хорошее.

Маруся вдруг взвизгнула и, сжав в руках карточку, опрометью побежала из гостиной.

— Странно, — продолжала княгиня. — Удивительно… Не знаю даже, что и сказать вам… Я никак не ожидала этого от доктора… К чему было вам беспокоиться? Он и сам мог бы пожаловать… обидно даже… За кого он нас принимает? Мы не купцы какие-нибудь… Да и купцы теперь стали иначе жить.

— Тип! — промычал Егорушка, с презрением поглядывая на старухину головку.

Дорого дал бы отставной гусар, если бы ему позволено было хоть раз «щелкнуть» по этой головке! Он не любил старух, как большая собака не любит кошек, и приходил чисто в собачий восторг, когда видел голову, похожую на дыньку.

— Что ж, матушка? — сказала сваха, вздыхая. — Хоть он и не князевского достоинства, а могу сказать, что, матушка-княгинюшка… Благодетели ведь вы наши. Ох, грехи, грехи! А нешто он не благородный? И образование всякое получил, и богатый, и роскошью всякою господь его наделил, царица небесная… А ежели желаете, чтобы к вам пришел, то извольте… Препожалует. Отчего не прийти? Прийти можно…

И, взявши княгиню за плечо, старуха потянула ее к себе и прошептала ей на ухо:

— Шестьдесят тысяч просит… Известное дело! Жена женой, а деньги деньгами. Сами изволите знать… Я, говорит, жены не возьму без денег, потому она должна у меня всякие удовольствия получать… Чтоб свой капитал имела…

Княгиня побагровела и, шурша своим тяжелым платьем, поднялась с кресла.

— Потрудитесь передать доктору, что мы крайне удивлены, — сказала она. — Обижены… Так нельзя. Больше я вам ничего не могу сказать… Чего же ты молчишь, Жорж? Пусть она уйдет! Всякое терпение может лопнуть!

По уходе свахи княгиня схватила себя за голову, упала на диван и застонала:

— Вот до чего мы дожили! — заголосила она. —

Боже мой! Какой-нибудь лекаришка, дрянь, вчерашний лакей, делает нам предложение! Благородный!.. Благородный! Ха! ха! Скажите пожалуйста, какое благородство! Сваху прислал! Нет вашего отца! Он не оставил бы этого даром! Пошлый дурак! Хам!

Но не так обидно было княгине, что за ее дочь сватается плебей, как то, что у нее попросили шестьдесят тысяч, которых у нее нет. Ее оскорбляло малейший намек на ее бедность. Проголосила она до позднего вечера и ночью просыпалась два раза, чтобы поплакать.

Но ни на кого не произвело такого впечатления посещение свахи, как на Марусю. Бедную девочку бросило в сильнейшую лихорадку. Дрожа всеми членами, она упала в постель, спрятала пылающую голову под подушку и начала, насколько хватало сил, решать вопрос:

«Неужели?!»

Вопрос головоломный. Маруся и не знала, что ответить себе на него. Он выражал и ее удивление, и смущение, и тайную радость, в которой почему-то ей стыдно было сознаться и которую хотелось скрыть от себя самой.

«Неужели?! Он, Топорков… Не может быть! Что-нибудь да не так! Переврала старуха!»

И в то же время мечты, сладчайшие, заветные, волшебные мечты, от которых замирает душа и горит голова, закопошились в ее мозгах, и всем ее маленьким существом овладел неизъяснимый восторг. Он, Топорков, хочет ее сделать своей женой, а ведь он так статен, красив, умен! Он посвятил жизнь свою человечеству и… ездит в таких роскошных санях!

«Неужели?!»

«Его можно любить! — порешила Маруся к вечеру. — О, я согласна! Я свободна от всяких предрассудков и пойду за этим крепостным на край света! Пусть мать скажет хоть одно слово — и я уйду от нее! Я согласна!»

Другие вопросы, второстепенные и третьестепенные, ей некогда было решать. Не до них было! При чем тут сваха? За что и когда он полюбил ее? Почему сам не является, если любит? Какое ей было дело до этих и до многих других вопросов? Она была поражена, удивлена… счастлива… достаточно было с нее и этого.

— Я согласна! — шептала она, стараясь нарисовать в своем воображении его лицо, с золотыми очками, сквозь которые глядят разумные, солидные, утомленные глаза. — Пусть приходит! Я согласна.

И когда таким образом Маруся металась в постели и чувствовала всем своим существом, как жгло ее счастье, сваха ходила по купеческим домам и щедрою рукою рассыпала докторские фотографии. Ходя из одного богатого дома в другой, она искала товара, которому могла бы порекомендовать «благородного» купца. Топорков не посылал ее специально к Приклонским. Он послал ее «куда хочешь». К своему браку, в котором он почувствовал необходимость, он относился безразлично: для него было решительно всё одно, куда бы ни пошла сваха… Ему нужны были… шестьдесят тысяч. Шестьдесят тысяч, не менее! Дом, который он собирался купить, не уступали ему дешевле этой суммы. Занять же эту сумму ему было негде, на рассрочку платежа не соглашались. Оставалось только одно: жениться на деньгах, что он и делал. Маруся же в его желании опутать себя узами Гименея была, ей-богу, нисколько не виновата!

В первом часу ночи в спальную Маруси тихо вошел Егорушка. Маруся была уже раздета и старалась уснуть. Ее утомило ее неожиданное счастье: ей хотелось хоть чем-нибудь успокоить без умолку и, как ей казалось, на весь дом стучавшее сердце. В каждой морщинке Егорушкиного

лица сидела тысяча тайн. Он таинственно кашлянул, значительно поглядел на Марусю и, как бы желая сообщить ей нечто ужасно важное и секретное, сел на ее ноги и нагнулся слегка к ее уху.

— Знаешь, что я скажу тебе, Маша? — начал он тихо. — Я откровенно скажу… Взгляд свой, того… Потому что ведь я для твоего же счастья. Ты спишь? Я для твоего же счастья… Выходи за того… за Топоркова! Не ломайся, а выходи себе, да и… шабаш! Человек он во всех отношениях… И богат. Это ничего, что он низкого происхождения. Наплюй.

Маруся крепче закрыла глаза. Ей было стыдно. В то же время ей было очень приятно, что ее брат симпатизирует Топоркову.

— Зато он богат! Без хлеба сидеть не будешь, по крайней мере. А покудова князя или графа поджидать будешь, так и с голоду подохнешь чего доброго… У нас ведь нет ни копейки! Фюйть! Пусто! Да ты спишь, что ли? А? Молчанье — знак согласия?

Маруся улыбнулась. Егорушка засмеялся и крепко, первый раз в жизни, поцеловал ее руку.

— И выходи… Он образованный человек. А как нам хорошо будет! Старуха выть перестанет!

И Егорушка погрузился в мечты. Помечтав, он

мотнул годовой и сказал:

— Только вот что мне непонятно… За каким чёртом он эту сваху присылал? Отчего сам не пришел? Тут что-нибудь да не так… Он не такой человек, чтобы сваху присылать.

«Это правда, — подумала Маруся, почему-то вздрогнув. — Тут что-нибудь да не так… Сваху глупо посылать. В самом деле, что это значит?»

Егорушка, обыкновенно не обладавший умением соображать, на этот раз сообразил:

— Впрочем, ведь ему самому некогда шляться. Целый день занят. Как угорелый, по больным бегает.

Маруся успокоилась, но ненадолго. Егорушка помолчал немного и сказал:

— И вот что еще для меня непонятно: он велел сказать этой ведьме, чтобы приданого было не меньше шестидесяти тысяч. Ты слышала? «Иначе, говорит, нельзя».

Маруся вдруг открыла глаза, вздрогнула всем телом, быстро поднялась и села, забыв даже прикрыть свои плечи одеялом. Глаза ее заискрились и щеки запылали.

— Это старуха говорит? — сказала она, дернув Егорушку за руку. — Скажи ей, что это ложь! Эти люди, такие, то есть как он… не могут говорить

этого. Он и… деньги?! Ха-ха! Эту низость могут подозревать только те, которые не знают, как он горд, как честен, некорыстолюбив! Да! Это прекраснейший человек! Его не хотят понять!

— И я так думаю, — сказал Егорушка. — Старуха наврала. Прислужиться ему, должно быть, захотела. Привыкла там у купцов!

Марусина головка утвердительно кивнула и юркнула под подушку. Егорушка поднялся и потянулся.

— Мать ревет, — сказал он. — Ну, да мы на нее не посмотрим. Итак, значит, того? Согласна? И отлично. Ломаться нечего. Докторша… Ха-ха! Докторша!

Егорушка похлопал Марусю по подошве и, очень довольный, вышел из ее спальни. Ложась спать, он составил в своей голове длинный список гостей, которых он пригласит на свадьбу.

«Шампанского нужно будет взять у Аболтухова, — думал он, засыпая. — Закуски брать у Корчатова… У него икра свежая. Ну, и омары…»

На другой день, утром, Маруся, одетая просто, но изысканно и не без кокетства, сидела у окна и поджидала. В одиннадцать часов Топорков промчался мимо, но не заехал. После обеда он еще раз промчался на своих вороных перед самыми

окнами, но не только не заехал, но даже и не поглядел на окно, около которого сидела Маруся, с розовой ленточкой в волосах.



«Ему некогда, — думала Маруся, любуясь им. —

В воскресенье приедет…»

Но не приехал он и в воскресенье. Не приехал и через месяц, и через два, через три… Он, разумеется, и не думал о Приклонских, а Маруся ждала и худела от ожидания… Кошки, не обыкновенные, а с длинными желтыми когтями, скребли ее за сердце.

«Отчего же он не едет? — спрашивала она себя. — Отчего? А… знаю… Он обижен за то, что… За что он обижен? За то, что мама так неделикатно обошлась со старушкой-свахой. Он думает теперь, что я не могу полюбить его…»

— С-с-с-скотина! — бормотал Егорушка, который уже раз десять заходил к Аболтухову и спрашивал его, не может ли он выписать шампанского самого высшего сорта.

После Пасхи, которая была в конце марта, Маруся перестала ожидать.

Однажды Егорушка вошел к ней в спальную и, злобно хохоча, сообщил ей, что ее «жених» женился на купчихе…

— Честь имеем поздравить-с! Честь имеем! Ха-ха-ха!

Это известие поступило слишком жестоко с моей маленькой героиней.

Она пала духом и не день, а месяцы олицетво-

ряла собой невыразимую тоску и отчаяние. Она выдернула из своих волос розовую ленточку и возненавидела жизнь. Но как пристрастно и несправедливо чувство! Маруся и тут нашла оправдание его поступку. Она недаром начиталась романов, в которых женятся и выходят замуж назло любимым людям, назло, чтобы дать понять, уколоть, уязвить.

«Он назло женился на этой дуре, — думала Маруся. — О, как мы нехорошо сделали, что так оскорбительно отнеслись к его сватовству! Такие люди, как он, не забывают оскорблений!»

На щеках исчез здоровый румянец, губы разучились складываться в улыбку, мозги отказались мечтать о будущем — задурила Маруся! Ей казалось, что с Топорковым погибла для нее и цель ее жизни. На что ей теперь жизнь, если на ее долю остались одни только глупцы, тунеядцы, кутилы! Она захандрила. Ничего не замечая, не обращая ни на что внимания, ни к чему не прислушиваясь, затянула она скучную, бесцветную жизнь, на которую так способны наши девы, старые и молодые… Она не замечала женихов, которых у нее было много, родных, знакомых. На плохие обстоятельства глядела она равнодушно, с апатией. Не заметила она даже, как банк продал дом князей

Приклонских, со всем его историческим, родным для нее скарбом, и как ей пришлось перебираться на новую квартиру, скромную, дешевую, в мещанском вкусе. Это был длинный, тяжелый сон, не лишенный все-таки сновидений. Снился ей Топорков во всех своих видах: в санях, в шубе, без шубы, сидящий, важно шагающий. Вся жизнь заключалась во сне.

Но грянул гром — и слетел сон с голубых глаз с льняными ресницами… Княгиня-мать, не сумевшая перенести разорения, заболела на новой квартире и умерла, не оставив своим детям ничего, кроме благословения и нескольких платьев. Ее смерть была страшным несчастьем для княжны. Сон слетел для того, чтобы уступить свое место печали.

III

Наступила осень, такая же сырая и грязная, как и прошлогодняя.

На дворе стояло серое, слезливое утро. Темно-серые, точно грязью вымазанные, облака всплошную заволакивали небо и своею неподвижностью наводили тоску. Казалось, не существовало солнца; оно в продолжение целой недели ни разу не взглянуло на землю, как бы боясь опачкать свои лучи в жидкой грязи…

Дождевые капли барабанили в окна с особенной силой, ветер плакал в трубах и выл, как собака, потерявшая хозяина… Не видно было ни одной физиономии, на которой нельзя было бы прочесть отчаянной скуки.

Лучше самая отчаянная скука, чем та непроходимая печаль, которая светилась в это утро на лице Маруси. Шлепая по жидкой грязи, моя героиня плелась к доктору Топоркову. Зачем она шла к нему?

«Я иду лечиться!» — думала она.

Но не верьте ей, читатель! На ее лицо недаром читается борьба.

Княжна подошла к дому Топоркова и робко, с замиранием сердца, дернула за звонок. Через минуту за дверью послышались шаги. Маруся почувствовала, что у нее леденеют и подгибаются ноги. В двери щелкнул замок, и Маруся увидела перед собой вопросительное лицо смазливой горничной.

— Доктор дома?

— Мы сегодня не принимаем. Завтра! — отвечала горничная и, задрожав от пахнувшей на нее сырости, шагнула назад. Дверь хлопнула перед самым носом Маруси, задрожала и с шумом заперлась.

Княжна сконфузилась и лениво поплелась домой. Дома ожидал ее даровой, но давно уже надоевший ей спектакль. Спектакль далеко не княжеский!

В маленькой гостиной, на диване, обитом новым, лоснящимся ситцем, сидел князь Егорушка. Сидел он по-турецки, поджав под себя ноги. Около него, на полу, лежала его приятельница Калерия Ивановна. Оба играли в носки и пили. Князь пил пиво, его Дульцинея мадеру. Выигравший, вместе с правом ударить противника по носу. получал и двугривенный. Калерии Ивановне, как даме, делалась маленькая уступка: вместо двугри-

венного она могла платить поцелуем. Эта игра доставляла обоим невыразимое наслаждение. Они покатывались со смеха, щипались, ежеминутно вскакивали со своих мест и гонялись друг за другом. Егорушка приходил в телячий восторг, когда выигрывал. Его восхищало то ломанье, с которым Калерия Ивановна отдавала проигранный поцелуй.

Калерия Ивановна, длинная и тонкая брюнетка, с ужасно черными бровями и выпуклыми рачьими глазами, ходила к Егорушке каждый день. Она приходила к Приклонским в десятом часу утра, у них пила чай, обедала, ужинала и в первом часу ночи уходила. Егорушка уверял свою сестру, что Калерия Ивановна певица, что она очень почтенная дама и т. д.

— Ты поговори-ка с ней! — убеждал сестру Егорушка. — Умница! Страсть!

Никифор, по моему мнению, был более прав, величая Калерию Ивановну шлюхой и Кавалерией Ивановной. Он ее ненавидел всей душой и выходил из себя, когда ему приходилось прислуживать ей. Он чуял правду, и инстинкт старого преданного слуги говорил ему, что этой женщине не место около его господ… Калерия Ивановна глупа и пуста, но это не мешало ей уходить каж-

дый день от Приклонских с полным желудком, с выигрышем в кармане и с уверенностью, что без нее жить не могут. Она жена клубного маркера, только всего, но это ей не мешало быть полной хозяйкой в доме Приклонских. Этой свинье нравилось класть ноги на стол.

Маруся жила на пенсию, которую она получала после отца. Пенсия отца была больше, чем обыкновенная генеральская, Марусина же доля была ничтожна. Но и этой доли было бы достаточно для безбедного жития, если бы Егорушка не имел столько прихотей.

Он, не хотевший и не умевший работать, не хотел верить тому, что он беден, и выходил из себя, если его заставляли мириться с обстоятельствами и по возможности умерять свои прихоти.

— Калерия Ивановна не любит телятины, — говорил он нередко Марусе. — Нужно для нее цыплят жарить. Чёрт вас знает! Беретесь хозяйничать, а не умеете! Чтоб не было завтра этой ерундистой телятины! Мы уморим с голоду эту женщину!

Маруся слегка противоречила, и чтобы не заводить неудовольствий, покупала цыпленка.

— Отчего сегодня жаркого не было? — кричал иногда Егорушка.

— Оттого, что мы вчера цыплят ели, — отвечала Маруся.

Но Егорушка плохо знал хозяйственную арифметику и знать ничего не хотел. За обедом он настойчиво требовал для себя пива, для Калерии Ивановны — вина.

— Может ли порядочный обед быть без вина? — спрашивал он Марусю, пожимая плечами и удивляясь человеческой глупости. — Никифор! Чтоб было вино! Твое дело смотреть за этим! А тебе, Маша, стыдно! Не браться же мне самому за хозяйство! Как вам нравится выводить меня из терпения!

Это был необузданный сибарит! Скоро Калерия Ивановна явилась ему на помощь.

— Вино для князя есть? — спрашивала она, когда накрывали стол для обеда. — А где пиво? Нужно сходить за пивом? Княжна, выдайте человеку на пиво! У вас есть мелкие?

Княжна говорила, что есть мелкие, и отдавала последнее. Егорушка и Калерия ели и пили, и не видели, как часы, кольца и серьги Маруси, вещь за вещью, уходили в ссуду, как продавались старьевщикам ее дорогие платья.

Они не видели и не слышали, с каким кряхтеньем и бормотаньем старый Никифор отпирал

свой сундучок, когда Маруся занимала у него денег на завтрашний обед. Этим пошлым и тупым людям, князю и его мещанке, никакого дела не было до всего этого!

На другой день, в десятом часу утра, Маруся отправилась к Топоркову, Дверь отперла ей та же смазливая горничная. Введя княжну в переднюю и снимая с нее пальто, горничная вздохнула и сказала:

— Вы ведь знаете, барышня? Доктор меньше пяти рублей за совет не берут-с. Это вы знайте-с.

«Для чего это она мне говорит? — подумала Маруся. — Какое нахальство! Он, бедный, и не знает, что у него такая нахальная прислуга!»

И в то же время у Маруси ёкнуло около сердца: у нее в кармане было только три рубля, но не станет же он гнать ее из-за каких-нибудь двух рублей.

Из передней Маруся вошла в приемную, где уже сидело множество больных. Большинство жаждущих исцеления составляли, разумеется, дамы. Они заняли всю находящуюся в приемном зале мебель, расселись группами и беседовали. Беседы велись самые оживленные о всем и обо всех: о погоде, о болезнях, о докторе, о детях… Говорили все вслух и хохотали, как у себя дома. Некоторые,

в ожидании очереди, вязали и вышивали. Людей, просто и плохо одетых, в приемной не было. В соседней комнате принимал Топорков. Входили к нему по очереди. Входили с бледными лицами, серьезные, слегка дрожащие, выходили же от него красные, вспотевшие, как после исповеди, точно снявшие с себя какое-то непосильное бремя, осчастливленные. Каждою больной Топорков занимался не более десяти минут. Болезни, должно быть, были неважные.

«Как всё это похоже на шарлатанство!» — подумала бы Маруся, если бы не была занята своей думой.

Маруся вошла в докторский кабинет последней. Входя в этот кабинет, заваленный книгами с немецкими и французскими надписями на переплетах, она дрожала, как дрожит курица, которую окунули в холодную воду. Он стоял посреди комнаты, опершись левой рукой о письменный стол.

«Как он красив!» — прежде всего мелькнуло в голове его пациентки.

Топорков никогда не рисовался, да и едва ли он умел когда-нибудь рисоваться, но все позы, которые он когда-либо принимал, выходили у него как-то особенно величественны. Поза, в которой

его застала Маруся, напоминала те позы величественных натурщиков, с которых художники пишут великих полководцев. Около руки его, упиравшейся о стол, валялись десяти— и пятирублевки, только что полученные от пациенток. Тут же лежали, в строгом порядке, инструменты, машинки, трубки — всё крайне непонятное, крайне «ученое» для Маруси. Это и кабинет с роскошной обстановкой, всё вместе взятое, дополняли величественную картину. Маруся затворила за собою дверь и остановилась… Топорков указал рукой на кресло. Моя героиня тихо подошла к креслу и села. Топорков величественно покачнулся, сел на другое кресло, vis-a-vis, и впился своими вопросительными глазами в лицо Маруси.

«Он не узнал меня! — подумала Маруся. — Иначе бы он не молчал… Боже мой, зачем он молчит? Ну, как мне начать?»

— Ну-с? — промычал Топорков.

— Кашель, — прошептала Маруся и, как бы в подтверждение своих слов, два раза кашлянула.

— Давно?

— Два месяца уж есть… По ночам больше.

— Угм… Лихорадка?

— Нет, лихорадки, кажется, нет…

— Вы лечились, кажется, у меня? Что у вас было

раньше?

— Воспаление легких.

— Угм… Да, помню… Вы, кажется, Приклонская?

— Да… У меня и брат тогда же был нездоров.

— Будете принимать этот порошок… перед сном… избегать простуды…

Топорков быстро написал рецепт, поднялся и принял прежнюю позу. Маруся тоже поднялась.

— Больше ничего?

— Ничего.

Топорков уставил на нее глаза. Глядел он на нее и на дверь. Ему было некогда, и он ждал, что она уйдет. А она стояла и глядела на него, любовалась и ждала, что он скажет ей что-нибудь. Как он был хорош! Прошла минута в молчании. Наконец она встрепенулась, прочла на его губах зевок и в глазах ожидание, подала ему трехрублевку и повернула к двери. Доктор бросил деньги на стол и запер за ней дверь.

Идя от доктора домой, Маруся страшно злилась:

«Ну, отчего я не поговорила с ним? Отчего? Трусиха я, вот что! Глупо как-то всё вышло… Только обеспокоила. Зачем я держала эти подлые деньги в руках, точно напоказ? Деньги — это такая

щекотливая вещь… Храни бог! Обидеть можно человека! Нужно платить так, чтоб незаметно это было. Ну, зачем я молчала?.. Он рассказал бы мне, объяснил… Видно было бы, для чего сваха приходила…»

Придя домой, Маруся легла в постель и спрятала голову под подушку, что она делала всегда, когда была возбуждена. Но не удалось ей успокоиться. В ее комнату вошел Егорушка и начал шагать из угла в угол, стуча и скрипя своими сапогами.

Лицо его было таинственно…

— Чего тебе? — спросила Маруся.

— А-а-а… А я думал, что ты спишь, не хотел беспокоить. Я хочу тебе кое-что сообщить… очень приятное. Калерия Ивановна хочет у нас жить. Я ее упросил.

— Это невозможно! C'est impossible! Кого ты просил?

— Отчего же невозможно? Она очень хорошая… Помогать тебе в хозяйстве будет. Мы ее в угольную комнату поместим.

— В угольной maman умерла! Это невозможно!

Маруся задвигалась, затряслась, точно ее укололи. Красные пятна выступили на ее щеках.

— Это невозможно! Ты убьешь меня, Жорж, если заставишь жить с этой женщиной! Голуб-

чик, Жорж, не нужно! Не нужно! Милый мой! Ну, я прошу!

— Ну, чем она тебе не нравится? Не понимаю! Баба как баба… Умная, веселая.

— Я ее не люблю…

— Ну, а я люблю. Я люблю эту женщину и хочу, чтобы она жила со мной!

Маруся заплакала… Ее бледное лицо исказилось отчаянием…

— Я умру, если она будет жить здесь…

Егорушка засвистал что-то себе под нос и, пошагав немного, вышел из Марусиной комнаты. Через минуту он опять вошел.

— Займи мне рубль, — сказал он.

Маруся дала ему рубль. Надо же чем-нибудь смягчить печаль Егорушки, в котором, по ее мнению, происходила теперь ужасная борьба: любовь к Калерии боролась с чувством долга!

Вечером к княжне зашла Калерия.

— За что вы меня не любите? — спросила Калерия, обнимая княжну. — Ведь я несчастная!

Маруся освободилась от ее объятий и сказала:

— Мне не за что вас любить!

Дорого же она заплатила за эту фразу! Калерия, поместившись через неделю в комнате, в которой умерла maman, нашла нужным прежде всего

отмстить за эту фразу. Месть выбрала она самую топорную.

— И чего вы так ломаетесь? — спрашивала она княжну за каждым обедом. — При такой бедности, как у вас, нужно не ломаться, а добрым людям кланяться. Если б я знала, что у вас такие недостатки, то не пошла бы к вам жить. И зачем я полюбила вашего братца!? — прибавила она со вздохом.

Упреки, намеки и улыбки оканчивались хохотом над бедностью Маруси. Егорушке нипочем был этот смех. Он считал себя должным Калерии и смирялся. Марусю же отравлял идиотский хохот супруги маркера и содержанки Егорушки.

По целым вечерам просиживала Маруся в кухне и, беспомощная, слабая, нерешительная, проливала слезы на широкие ладони Никифора. Никифор хныкал вместе с ней и разъедал Марусины раны воспоминаниями о прошлом.

— Бог их накажет! — утешал он ее. — А вы не плачьте.

Зимой Маруся еще раз пошла к Топоркову.

Когда она вошла к нему в кабинет, он сидел в кресле, по-прежнему красивый и величественный… На этот раз лицо его было сильно утомлено… Глаза мигали, как у человека, которо-

му не дают спать. Он, не глядя на Марусю, указал подбородком на кресло vis-a-vis. Она села.

«У него печаль на лице, — подумала Маруся, глядя на него. — Он, должно быть, очень несчастлив со своей купчихой!»

Минуту просидели они молча. О, с каким наслаждением она пожаловалась бы ему на свою жизнь! Она поведала бы ему такое, чего он не мог бы вычитать ни из одной книги с французскими и немецкими надписями.

— Кашель, — прошептала она.

Доктор мельком взглянул на нее.

— Гм… Лихорадка?

— Да, по вечерам…

— Ночью потеете?

— Да…

— Разденьтесь…

— То есть как?..

Топорков нетерпеливым жестом указал себе на грудь. Маруся, краснея, медленно расстегнула на груди пуговки.

— Разденьтесь. Поскорей, пожалуйста!.. — сказал Топорков и взял в руки молоточек.

Маруся потянула одну руку из рукава. Топорков быстро подошел к ней и в мгновение ока привычной рукой спустил до пояса ее платье.

— Расстегните сорочку! — сказал он и, не дожидаясь, пока это сделает сама Маруся, расстегнул у шеи сорочку и, к великому ужасу своей пациентки, принялся стучать молотком по белой исхудалой груди…

— Пустите руки… Не мешайте. Я вас не съем, — бормотал Топорков, а она краснела и страстно желала провалиться сквозь землю.

Постукав, Топорков начал выслушивать. Звук у верхушки левого легкого оказался сильно притупленным. Ясно слышались трескучие хрипы и жесткое дыхание.

— Оденьтесь, — сказал Топорков и начал задавать ей вопросы: хороша ли квартира, правилен ли образ жизни и т. д.

— Вам нужно ехать в Самару, — сказал он, прочитав ей целую лекцию о правильном образе жизни. — Будете там кумыс пить. Я кончил. Вы свободны…

Маруся кое-как застегнула свои пуговки, неловко подала ему пять рублей и, немного постояв, вышла из ученого кабинета.

«Он держал меня целых полчаса, — думала она, идя домой, — а я молчала! Молчала! Отчего я не поговорила с ним?»

Она шла домой и думала не о Самаре, а о док-

торе Топоркове. К чему ей Самара? Там, правда, нет Калерии Ивановны, но зато же там нет и Топоркова!

Бог с ней, с этой Самарой! Она шла, злилась и в то же время торжествовала: он признал ее больной, и теперь она может ходить к нему без церемоний, сколько ей угодно, хоть каждую неделю! У него в кабинете так хорошо, так уютно! Особенно хорош диван, который стоит в глубине кабинета. На этом диване она желала бы посидеть с ним и потолковать о разных разностях, пожаловаться, посоветовать ему не брать так дорого с больных. С богатых, разумеется, можно и должно брать дорого, но бедным больным нужно делать уступку.

«Он не понимает жизни, не может отличить богатого от бедного, — думала Маруся. — Я научила бы его!»

И на этот раз. дома ожидал ее даровой спектакль. Егорушка валялся на диване в истерическом припадке. Он рыдал, бранился, дрожал, как в лихорадке. По его пьяному лицу текли слезы.

— Калерия ушла! — голосил он. — Уже две ночи дома не ночевала! Она рассердилась!

Но напрасно ревел Егорушка. Вечером пришла Калерия, простила его и увезла с собой в клуб.

Распутство Егорушки достигло апогея… Ему мало было Марусиной пенсии, и он начал «работать». Он занимал деньги у прислуги, шулерничал в картах, воровал у Маруси деньги и вещи. Однажды, идя рядом с Марусей, он вытащил из ее кармана два рубля, которые она скопила для того, чтобы купить себе башмаки. Один рубль он оставил себе, а на другой купил Калерии груш. Знакомые оставили его. Прежние посетители дома Приклонских, знакомые Маруси, теперь в глаза величали его «сиятельным шулером». Даже «девицы» в «Шато де Флер» недоверчиво глядели на него и смеялись, когда он, заняв у какого-нибудь нового знакомого денег, приглашал их с собою ужинать.

Маруся видела и понимала этот апогей распутства… Бесцеремонность Калерии тоже шла crescendo.

— Не ройтесь, пожалуйста, в моих платьях, — сказала ей однажды Маруся.

— Ничего от этого вашим платьям не сделается, — ответила Калория. — А ежели вы меня считаете воровкой, то… извольте. Я уйду.

И Егорушка, проклиная сестру, целую неделю провалялся у ног Калерии, прося ее не уходить.

Но недолго может продолжаться такая жизнь.

Всякая повесть имеет конец, кончился и этот маленький роман.

Наступила масленица, и с нею наступили дни, предвестники весны. Дни стали больше, полилось с крыт, с полей повеяло свежестью, вдыхая которую, вы предчувствуете весну…

В один из масленичных вечеров Никифор сидел у постели Маруси… Егорушки и Калерии не было дома.

— Я горю, Никифор, — говорила Маруся.

А Никифор хныкал и разъедал ее раны воспоминаниями о прошлом… Он говорил о князе, о княгине, их житье-бытье… Описывал леса, в которых охотился покойный князь, поля, по которым он скакал за зайцами, Севастополь. В Севастополе покойный был ранен. Многое рассказал Никифор. Марусе в особенности понравилось описание усадьбы, пять лет тому назад проданной за долги.

— Выйдешь, бывало, на террасу… Весна это зачинается. И боже мой! Глаз бы не отрывал от света божьего! Лес еще черный, а от него так и пышет удовольствием-с! Речка славная, глубокая… Маменька ваша во младости изволила рыбку ловить удочкой… Стоят над водой, бывалыча, по целым дням… Любили-с на воздухе быть… Природа!

Охрип Никифор, рассказывая. Маруся слушала его и не отпускала от себя. На лице старого лакея она читала всё то, что он ей говорил про отца, про мать, про усадьбу. Она слушала, всматривалась в его лицо, и ей хотелось жить, быть счастливой, ловить рыбу в той самой реке, в какой ловила ее мать… Река, за рекой поле, за полем синеют леса, и над всем этим ласково сияет и греет солнце… Хорошо жить!

— Голубчик, Никифор, — проговорила Маруся, сжав его сухую руку, — миленький… Займи мне завтра пять рублей… В последний раз… Можно?

— Можно-с… У меня только и есть пять. Возьмите-с, а там бог пошлет…

— Я отдам, голубчик. Ты займи…

На другой день, утром, Маруся оделась в лучшее платье, завязала волосы розовой ленточкой и пошла к Топоркову. Прежде чем выйти из дому, она десять раз взглянула на себя в зеркало. В передней Топоркова встретила ее новая горничная.

— Вы знаете? — спросила Марусю новая горничная, стаскивая с нее пальто. — Доктор меньше пяти рублей не берут за совет…

Пациенток на этот раз в приемной было особенно много. Вся мебель была занята. Один мужчина сидел даже на рояле. Прием больных начался в

десять часов. В двенадцать доктор сделал перерыв для операции и начал снова прием в два. Марусина очередь настала только тогда, когда было четыре часа.

Не пившая чаю, утомленная ожиданием, дрожа от лихорадки и волнения, она и не заметила, как очутилась в кресле, против доктора. В голове ее была какая-то пустота, во рту сухо, в глазах стоял туман. Сквозь этот туман она видела одни только мельканья… Мелькала его голова, мелькали руки, молоточек…

— Вы ездили в Самару? — спросил ее доктор. — Почему вы не ездили?

Она ничего не отвечала. Он постукал по ее груди и выслушал. Притупление на левой стороне захватывало уже область почти всего легкого. Тупой звук слышался и в верхушке правого легкого.

— Вам не нужно ехать в Самару. Не уезжайте, — сказал Топорков.

И Маруся сквозь туман прочла на сухом, серьезном лице нечто похожее на сострадание.

— Не поеду, — прошептала она.

— Скажите вашим родителям, чтобы они не пускали вас на воздух. Избегайте грубой, трудно варимой пищи…

Топорков начал советовать, увлекся и прочел целую лекцию.

Она сидела, ничего не слушала и сквозь туман глядела на его двигающиеся губы. Ей показалось, что он говорил слишком долго. Наконец он умолк, поднялся и, ожидая ее ухода, уставил на нее свои очки.

Она не уходила. Ей нравилось сидеть в этом хорошем кресле и страшно было идти домой, к Калерии.

— Я кончил, — сказал доктор. — Вы свободны.

Она повернула к нему свое лицо и посмотрела на него.

«Не гоните меня!» — прочел бы доктор в ее глазах, если бы был хоть маленьким физиономистом.

Из глаз ее брызнули крупные слезы, руки бессильно опустились по сторонам кресла.

— Я люблю вас, доктор! — прошептала она.

И красное зарево, как следствие сильного душевного пожара, разлилось по ее лицу и шее.

— Я люблю вас! — прошептала она еще раз, и голова ее покачнулась два раза, бессильно опустилась и коснулась лбом стола.

А доктор? Доктор… покраснел первый раз за всё время своей практики. Глаза его замигали,

как у мальчишки, которого ставят на колени. Ни от одной пациентки ни разу не слыхал он таких слов и в такой форме! Ни от одной женщины! Не ослышался ли он?

Сердце беспокойно заворочалось и застучало… Он конфузливо закашлялся.

— Миколаша! — послышался голос из соседней комнаты, и в полуотворенной двери показались две розовые щеки его купчихи.

Доктор воспользовался этим зовом и быстро вышел из кабинета. Он рад был придраться хоть к чему-нибудь, лишь бы только выйти из неловкого положения.

Когда, через десять минут, он вошел в свой кабинет, Маруся лежала на диване. Лежала она на спине, лицом вверх. Одна рука спускалась до пола вместе с прядью волос. Маруся была без чувств. Топорков, красный, с стучащим сердцем, тихо подошел к ней и расстегнул ее шнуровку. Он оторвал один крючок и, сам того не замечая, порвал ее платье. Из всех оборочек, щелочек и закоулочков платья посыпались на диван его рецепты, его карточки, визитные и фотографические…

Доктор брызнул водой в ее лицо… Она открыла глаза, приподнялась на локоть и, глядя на докто-

ра, задумалась. Ее занимал вопрос: где я?

— Люблю вас! — простонала она, узнав доктора.

И глаза, полные любви и мольбы, остановились на его лице. Она глядела, как подстреленный зверек.

— Что же я могу сделать? — спросил он, не зная, что делать… Спросил он голосом, который не узнала Маруся, не мерным, не отчеканивающим, а мягким, почти нежным…

Локоть ее подогнулся и голова опустилась на диван, но глаза всё еще продолжали смотреть на него…

Он стоял перед ней, читал в ее глазах мольбу и чувствовал себя в ужаснейшем положении. В груди стучало сердце, а в голове творилось нечто небывалое, незнакомое… Тысяча непрошенных воспоминаний закопошились в его горячей голове. Откуда взялись эти воспоминания? Неужели их вызвали эти глаза, с любовью и мольбой?

Он вспомнил раннее детство с чисткой барских самоваров. За самоварами и подзатыльниками замелькали в его памяти благодетели, благодетельницы в тяжелых салопах, духовное училище, куда отдали его за «голос». Духовное училище с розгами и кашей с песком уступило место семина-

рии. В семинарии латынь, голод, мечты, чтение, любовь с дочерью отца-эконома. Вспомнилось ему, как он, вопреки желаниям благодетелей, бежал из семинарии в университет. Бежал без гроша в кармане, в истоптанных сапогах. Сколько прелести в этом бегстве! В университете голод и холод ради труда… Трудная дорога!

Наконец он победил, лбом своим пробил туннель к жизни, прошел этот туннель и… что же? Он знает превосходно свое дело, много читает, много работает и готов работать день и ночь…

Топорков искоса поглядел на десяти — и пятирублевки, которые валялись у него на столе, вспомнил барынь, от которых только что взял эти деньги, и покраснел…

Неужели только для пятирублевок и барынь он прошел ту трудовую дорогу? Да, только для них…

И под напором воспоминаний осунулась его величественная фигура, исчезла гордая осанка и поморщилось гладкое лицо.

— Что же я могу сделать? — прошептал он еще раз, глядя на Марусины глаза.

Ему стало стыдно этих глаз.

А что если она спросит: что ты сделал и что приобрел за всё время своей практики?

Пятирублевки и десятирублевки, и ничего

больше! Наука, жизнь, покой — всё отдано им. А они дали ему княжескую квартиру, изысканный стол, лошадей, всё то, одним словом, что называется комфортом.

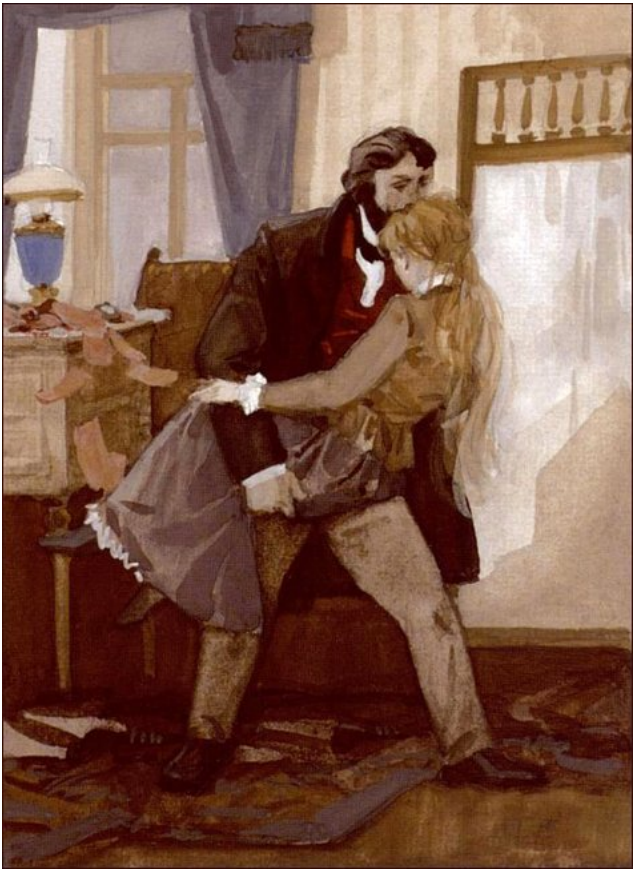
Вспомнил Топорков свои семинарские «идеалы» и университетские мечты, и страшною, невылазною грязью показались ему эти кресла и диван, обитые дорогим бархатом, пол, устланный сплошным ковром, эти бра, эти трехсотрублевые часы!

Он подался вперед и поднял Марусю с грязи, на которой она лежала, поднял высоко, с руками и ногами…

— Не лежи здесь! — сказал он и отвернулся от дивана.

И, как бы в благодарность за это, целый водопад чудных льняных волос полился на его грудь… Около его золотых очков заблистали чужие глаза. И что за глаза! Так и хочется дотронуться до них пальцем!

— Дай мне чаю! — прошептала она.



На другой день Топорков сидел с ней в купе

первого класса. Он вез ее в Южную Францию. Странный человек! Он знал, что нет надежды на выздоровление, знал отлично, как свои пять пальцев, но вез ее… Всю дорогу он постукивал, выслушивал, расспрашивал. Не хотел он верить своим знаниям и всеми силами старался выстукать и выслушать на ее груди хоть маленькую надежду!

Деньги, которые еще вчера он так усердно копил, в огромнейших дозах рассыпались теперь на пути.

Он всё отдал бы теперь, если бы хоть в одном легком этой девушки не слышались проклятые хрипы! Ему и ей так хотелось жить! Для них взошло солнце, и они ожидали дня… Но не спасло солнце от мрака и… не цвести цветам поздней осенью!

Княжна Маруся умерла, не прожив в Южной Франции и трех дней.

Топорков, по приезде из Франции, зажил по-прежнему. По-прежнему лечит барынь и копит пятирублевки. Впрочем, можно заметить в нем и перемену. Он, говоря с женщиной, глядит в сторону, в пространство… Почему-то ему страшно делается, когда он глядит на женское лицо…

Егорушка жив и здоров. Он бросил Калерию

и живет теперь у Топоркова. Доктор взял его к себе в дом и души в нем не чает. Егорушкин подбородок напоминает ему подбородок Маруси, и за это позволяет он Егорушке прокучивать свои пятирублевки.

Егорушка очень доволен.

1882 г.